
Чайная
на Последней
остановке

Милана Панова

Чайная на Последней остановке

«Автор»
2026

Панова М.

Чайная на Последней остановке / М. Панова — «Автор», 2026

Фармацевт Варвара за ночную смену выслушивает сотню чужих жалоб и мечтает только выспаться. Поэтому, когда ночной автобус привозит её на остановку, которой нет на картах, она почти не удивляется. Удивляется она позже: когда домовой требует опись чайных ложек, кикимора дарит носки, а угрюмый кузнец с волчьими глазами молча чинит ей самовар.В посёлке Подзимье пустует старая чайная, а обратный автобус придёт только в новогоднюю ночь. И беда: декабрь на исходе, а снега нет. Мороз Иванович не пришёл, потому что некому заварить ему его особый чай. От рецепта остался лишь обрывок страницы, написанный до боли знакомым почерком.У Варвары месяц, чтобы собрать хвою, клюкву, искру и чужое желание, подружиться с нечистью, приютить совёнка, который боится темноты, и понять, ради чего остаются.Тёплая новогодняя сказка о том, что иногда, чтобы найти своё место, нужно проехать свою остановку.

© Панова М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Конечная, которой нет на карте 5
Глава 2. Хозяин ложек 8
Глава 3. Подзимье при свете дня 11
Глава 4. Насморк водяного 15
Глава 5. Почерк 19
Конец ознакомительного фрагмента. 21

Милана Панова
Чайная на Последней остановке

Глава 1. Конечная, которой нет на карте

В четыре утра аптека на Ново-Садовой пахла хлоргексидином, мандаринами и чужой усталостью. Мандарины принесла уборщица Зульфия ещё в одиннадцать вечера: высыпала на подоконник целый пакет, сказала «Новый год скоро, Варя, надо настроение» и ушла мыть лестницу. Настроение с тех пор лежало на подоконнике оранжевой горкой и потихоньку подсыхало.

Варвара Сергеевна Лужина, провизор первой категории, тридцать четыре года, двенадцать лет стажа, сидела за окошком ночного отпуска и смотрела, как на мониторе кассы мигает курсор. За смену через это окошко прошло сорок семь человек. Варвара не считала специально, просто к четырём утра цифры начинали считать себя сами.

Был мужчина с похмельем, который требовал «что-нибудь, чтобы голова перестала думать». Была девочка-студентка с тестом на беременность и таким лицом, что Варвара молча положила ей в пакет ещё и шоколадку из своего ящика. Был дедушка, который пришёл за корвалолом, а потом двадцать минут рассказывал, что жена его, Нина Петровна, всегда покупала к Новому году грецкие орехи, а он теперь не знает, где их берут. Варвара объяснила, где берут орехи. Дедушка поблагодарил так, будто ему вернули жену.

Это и было самое трудное в ночных сменах. Не очереди, не пьяные, не звонки заведующей. Самое трудное — что люди несли в окошко не только рецепты. Они несли бессонницу, развод, мёртвых собак, детей, которые не звонят. Всё это просачивалось сквозь стекло и оседало где-то у Варвары под рёбрами, а от этого в аптеке не продавалось ничего.

В половине восьмого пришла сменщица Лена, румяная с мороза, в шапке с помпоном.

— Ты зелёная, — сообщила Лена вместо приветствия. — Иди домой. Только не засни в маршрутке, как в прошлый раз.

— В прошлый раз я доехала до Кряжа, — возразила Варвара. — Это было почти путешествие.

— Иди уже, путешественница.

На улице стоял тот особенный самарский конец ноября, когда зима уже пообещала прийти, но всё ещё медлит в прихожей и не снимает ботинок. Под ногами хлюпало. Небо висело низко, серое, как старая вата. В витрине напротив кто-то уже повесил гирлянду, и она мигала синим в пустоту, никому особенно не нужная.

Варвара пошла не к маршрутке, а к остановке ночного автобуса — он ещё ходил до восьми, и в нём можно было сидеть. Это было важно: сидеть. Автобус пришёл почти сразу, жёлтый, старый, с круглыми фарами. Номера на табличке Варвара не разглядела, но двери открылись так приветливо, что разглядывать не захотелось.

Внутри было тепло и почти пусто. Пахло почему-то не бензином, а печёными яблоками. Водитель, худой старик в форменной фуражке, кивнул ей в зеркало. Варвара приложила карту к валидатору, валидатор задумчиво пискнул, и она прошла к заднему сиденью у окна, своему любимому.

Последнее, что она запомнила, — как по стеклу ползёт капля, огибая наклейку «Не прислоняться». Капля ползла медленно, обстоятельно, как пенсионерка по гололёду. Варвара хотела проследить, куда она доберётся, и закрыла глаза всего на секунду.

Проснулась она от тишины.

Автобус стоял. Двигатель не работал. За окном было не утро, а что-то среднее между вечером и сном: синеватый сумрак, туман, деревья. Варвара села прямо, и шея отозвалась злым щелчком.

— Конечная, — сказал водитель, не оборачиваясь. — Подзимье.

— Простите?

— Подзимье, говорю. Дальше не едем.

Варвара посмотрела в окно внимательнее. Деревья оказались яблонями — старыми, кривыми, с чёрными ветками, на которых кое-где ещё висели маленькие сморщенные яблоки. Сквозь туман проступал одинокий фонарь на чугунном столбе. Под фонарём — остановка: деревянный навес, лавка, а за ними дом с высоким крыльцом и вывеской, которую туман прятал наполовину.

— Я, кажется, проехала, — сказала Варвара. — Мне на Стара-Загору. Вы обратно когда?

Водитель наконец обернулся. Лицо у него было доброе и совершенно спокойное, как у человека, который этот разговор вёл много раз.

— Обратно — в новогоднюю ночь. Как куранты отобьют, так и поеду.

— Какую новогоднюю ночь?

— Эту. Ближайшую. — Он подумал и уточнил: — Тридцать первого.

Варвара засмеялась. Смех вышел короткий и не очень уверенный.

— Сегодня тридцатое ноября.

— Вот и я говорю. Месяц у вас есть. — Водитель открыл двери, и в салон вплыл холодный влажный воздух, пахнущий прелой листвой и дымом. — Выходите, барышня. Мне машину ставить надо.

Нормальный человек на её месте, наверное, начал бы спорить, звонить в полицию или хотя бы требовать жалобную книгу. Варвара была нормальным человеком, но очень уставшим. Она вытащила телефон. Экран показал половину заряда и крестик вместо антенны. Карта грузилась, грузилась и наконец показала голубую точку посреди ровного серого ничего.

— Тут нет связи, — сказала она.

— На крыше иногда ловит, — сочувственно отозвался водитель. — Если ветер с города.

Варвара вышла. Не потому, что поверила, а потому, что сидеть в остывающем автобусе было глупо. Она рассчитывала, что за остановкой окажется дорога, на дороге — указатель, а у указателя — какая-нибудь цивилизация с вайфаем и такси.

Двери за ней сложились с мягким вздохом. Автобус тронулся, проехал мимо фонаря, вкатился в туман и пропал. Не уехал за поворот, не скрылся за деревьями — именно пропал, будто туман его аккуратно проглотил. Звука мотора не было слышно уже через секунду.

Варвара постояла, держа сумку обеими руками. В сумке лежали кошелёк, зарядка, тюбик крема для рук, сменные носки, контейнер из-под гречки и упаковка жаропонижающего, которую она третью неделю забывала выложить. Не самый лучший набор для конца света.

Дороги за остановкой не обнаружилось. Обнаружилась тропинка, посыпанная яблочной листвой, и она вела к дому с вывеской.

Вблизи дом оказался чайной. Это сообщала вывеска, на которой облупленными зелёными буквами было выведено: «ЧАЙНАЯ», а ниже, мельче и затейливее: «На Последней остановке». Окна закрывали ставни, на крыльце лежали листья. Дверь была перехвачена крест-накрест двумя досками, и под ними белела бумажка, приколотая ржавой кнопкой.

Варвара наклонилась. Почерк был старательный и немного сердитый, с нажимом:

«Хозяйка нужна. Жалованье — по совести. Спрашивать внутри».

— Внутри, — повторила Варвара вслух. — Отлично. Внутри — это где доски.

Она огляделась. Туман редел, и сквозь него проступали другие крыши: низкие, с печными трубами, кое-где над ними поднимался дым. Где-то далеко залаяла собака — или не совсем собака, звук был ниже и протяжнее. Пахло яблоками, листвой и чем-то, чего Варвара

никак не могла определить. Она подумала и решила, что так пахнет зима, которая забыла выпасть.

Холод пробирался под пуховик. Ноги в аптечных кроссовках, промокших ещё в Самаре, начинали неметь. Решение пришло само, простое и отчётливо фармацевтическое: в любой непонятной ситуации сначала согрей пациента. Пациентом сейчас была она сама.

Доски держались на честном слове и двух гвоздях. Варвара потянула верхнюю, и та отошла с таким готовым скрипом, будто давно ждала. Нижняя упрямилась дольше, пришлось упереться ногой в косяк. Наконец и она сдалась.

Дверь открылась внутрь. За ней была темнота, запах пыли, сушёной мяты и остывшей печи.

И голос, раздражённый и очень отчётливый:

— Ноги вытирать. Я кому коврик стелил?

Глава 2. Хозяин ложек

Варвара застыла на пороге с доской в руке. Доска была не лучшим оружием, но другого не нашлось.

— Кто здесь? — спросила она в темноту тем голосом, каким обычно разговаривала с ночными посетителями, требующими трамадол без рецепта.

— Я здесь, — ответили из темноты с достоинством. — А вот кто вы — это вопрос. Коврик, повторяю, слева.

Коврик действительно лежал слева — плетёный, из цветных лоскутов. Варвара машинально вытерла об него ноги. Глаза понемногу привыкали к сумраку. Свет сочился сквозь щели в ставнях полосками, в полосках танцевала пыль. Проступали очертания: длинный прилавок, за ним полки, на полках банки и жестяные коробки. Несколько столов с перевёрнутыми на них табуретками. Огромная печь, белёная, занимавшая весь угол. Самовар на прилавке — пузатый, медный, тусклый.

Говорящего видно не было.

— Я по объявлению, — сказала Варвара, потому что ничего лучше в голову не пришло.

Наступила пауза. Потом в углу у печи что-то зашуршало, и на свет вышел... Варвара так и не смогла потом решить, кто именно. Ростом он был ей по колено. Бородатый, в серой рубахе навыпуск и в валенках, у которых были отрезаны голенища. Волосы торчали во все стороны, как у ежа, которого погладили против шерсти. Нос — картошкой. Глаза маленькие, внимательные, цвета чайной заварки.

Он держал в руках деревянную счётную доску с костяшками.

— По объявлению, — повторил он, разглядывая её снизу вверх. — Объявление я шестьдесят лет назад писал. Ты не торопилась.

— Автобус задержался, — сказала Варвара.

Человечек — нет, не человечек, она уже понимала, что слово неправильное, — хмыкнул. Потом поставил счёты на лавку и протянул руку. Рука у него была шершавая, тёплая и неожиданно крепкая.

— Пётр Ильич. Домовой при чайной.

— Варвара. Сергеевна. Фармацевт.

— Это ещё что за зверь?

— Провизор. Аптекарь, — поправилась она, заметив, что слово «провизор» вызывает у собеседника подозрение. — Лекарства продаю. Продавала.

Пётр Ильич посмотрел на неё с новым интересом.

— Травы знаешь?

— Ромашку от календулы отличу. Шалфей от мяты. Дозировки знаю, противопоказания, взаимодействия. А что?

— А то, — сказал домовой, — что это уже лучше, чем ничего. Последние три соискателя ромашку от сена не отличали. Один кот был, правда. Учёный. Но у него лапки. — Он помолчал и строго добавил: — Ложки посчитаешь потом.

— Какие ложки?

— Чайные. Сорок две штуки. Серебряных шесть, мельхиоровых двадцать, деревянных шестнадцать. По описи. — Он постучал пальцем по счётам. — Я опись веду. Каждый вечер. Если ложка пропадёт, я узнаю.

Варвара почувствовала, как внутри у неё что-то сдвигается, и не сразу поняла, что это смех. Не истерика, не паника — именно смех, тёплый и неуместный. Двенадцать лет она работала в системе, где каждая ампула учитывалась в трёх журналах, а пропажа одного блистера

грозила служебной проверкой. И вот она проехала свою остановку, попала в место, которого нет на картах, и первым, кого здесь встретила, оказался бухгалтер по ложкам.

— Понимаю, — сказала она серьёзно. — У нас тоже опись. Предметно-количественный учёт.

— Чего?

— Неважно. Очень вас понимаю.

Пётр Ильич посмотрел на неё долго, будто взвешивая. Потом кивнул — коротко, по-деловому.

— Печь растопить умеешь?

Печь растопить Варвара не умела. Последний раз она видела настоящую печь в восемь лет, в деревне у бабушки под Сызранью, и тогда её к печке не подпускали. Пётр Ильич, ворча под нос что-то про городских, которые «газ им подавай», показал, где лежат дрова, где береста, как открывать вьюшку и почему нельзя закрывать её раньше, чем прогорят угли.

— Угоришь — я с тобой возиться не буду, — предупредил он. — Мне покойники в чайной не нужны. Примета плохая.

Береста занялась с третьей спички. Огонь лизнул поленья, задумался, потом решился и загудел ровно и деловито. Варвара сидела перед открытой заслонкой на низкой скамеечке и чувствовала, как оттаивают пальцы, щёки, колени. Кроссовки она сняла и поставила сушиться на приступок. Носки сменила на запасные — оказывается, не зря она их таскала.

Пётр Ильич тем временем открыл ставни. Сделал он это, не выходя на улицу: просто постучал по раме, и ставни распахнулись сами, по очереди, с тихим деревянным стуком. В чайную вошёл синий вечерний свет.

Теперь Варвара разглядела всё как следует. Чайная была большая, но не холодная — уютная той уютностью, которую не создают дизайнеры, а копят годы. Столы были разные, будто их собирали по всей округе: круглый, на гнутых ножках; длинный, деревенский; маленький, на одного, у окна. На стенах висели пучки сухих трав, потемневшие, но ещё пахнущие. Над прилавком — часы с кукушкой, остановившиеся на без пяти двенадцать. На полках стояли жестяные коробки с выцветшими надписями от руки: «Липа», «Иван-чай», «Душица», «От тоски», «Для смелости», «Чтоб помириться».

Варвара встала и подошла ближе. Прочитала ещё: «От бессонницы (не давать сычам)». «От зубной боли и вредности». «Для гостей, которые засиделись».

— Это что? — спросила она.

— Сборы, — ответил Пётр Ильич таким тоном, будто она спросила, что такое вода. — Тут чайная, не трактир. Сюда не пить ходят.

— А зачем?

Домовой залез на табуретку у прилавка, чтобы быть повыше, и сложил руки на животе.

— Подзимье, — начал он, — место такое. Сюда попадают те, кому передохнуть надо. Народ, люди, звери — все сюда рано или поздно заворачивают. А чайная на остановке — первое, что видят. Хозяйка тут чай заваривает. Не простой. Кому от тоски, кому от обиды, кому чтобы слово найти, какое потерял. Платят кто чем: кто историей, кто дровами, кто вареньем. Деньги тут не в ходу.

— Совсем?

— Совсем. Куда их тут тратить? — Он помолчал. — Хозяйки нет давно. Я сам пробовал заваривать. Не то. Домовому чай не даётся, мы для другого. У меня даже от зубной боли выходит только от вредности.

Варвара вспомнила, как в аптечном колледже преподавательница фармакогнозии, сухонькая Ирина Марковна, говорила: «Трава лечит, только если её правильно собрали, правильно высушили и правильно заварили. И если тот, кто заваривает, понимает, что делает». Тогда Варвара думала, что это про температуру воды.

— А почему я? — спросила она. — Вдруг я не подхожу.

— Ну, может, и не подходишь, — согласился Пётр Ильич без всякой обиды. — Посмотрим. Автобус всё равно только в новогоднюю ночь. Хочешь — живи так, гостьей. Хочешь — работай. Месяц у тебя есть.

— А если я захочу уехать раньше?

Домовой развёл руками.

— Дорога тут одна. Через туман. Пешком через туман только лешие ходят, и то не все возвращаются. Сиди уж.

Он слез с табуретки, пошаркал за прилавок и вернулся с толстой тетрадью в клеёнчатой обложке. Обложка когда-то была синей, а теперь выгорела до цвета летнего неба над пыльной дорогой. Уголки страниц разлохматились.

— Вот. Рецепты прежней хозяйки. Почитай на ночь, если глаза не слипнутся. Только аккуратно. Порвёшь — внесу в опись как ущерб.

Варвара взяла тетрадь. Она была тяжелее, чем казалась, и тёплой, будто лежала на печке.

— Спасибо, Пётр Ильич.

— Спасибо в опись не внесёшь, — буркнул он. Но уши у него, торчащие из-под лохматых волос, слегка покраснели. — Спать будешь наверху. Там кровать. Бельё в сундуке, сухое, я перекладывал лавандой. Кипяток в самоваре будет, если самовар починишь. Он у нас третий год не греет.

— А вы где спите?

— За печкой. Где ещё домовому спать.

Наверху оказалась маленькая комната под скошенным потолком: кровать с горой подушек, сундук, умывальник, круглое окошко, выходящее на остановку и фонарь. Варвара застелила постель бельём, которое и правда пахло лавандой. Легла, не раздеваясь, только стянула пуховик. Положила тетрадь на одеяло.

Она собиралась прочитать хотя бы первую страницу. Честно собиралась. Но печное тепло поднималось снизу сквозь доски пола, подушки пахли лавандой, за окном неподвижно горел фонарь, и где-то внизу Пётр Ильич гремел ложками, бормоча: «...тридцать девять, сорок, сорок одна...»

— Сорок две, — подсказала Варвара в потолок.

— Без тебя знаю, — донеслось снизу.

Она улыбнулась и уснула. Впервые за много месяцев — без будильника на телефоне, без мыслей о завтрашней смене, без чужих бессонниц под рёбрами.

Глава 3. Подзимье при свете дня

Утро в Подзимье начиналось не с будильника и не с соседского перфоратора, а с запаха. Варвара проснулась оттого, что пахло жареным хлебом и чем-то сладким, ягодным. Она полежала, глядя в скошенный потолок с тёмными сучками на досках, и честно попыталась убедить себя, что всё вчерашнее приснилось. Убеждение не получилось: сучки на потолке были слишком настоящими, а внизу кто-то отчётливо ругался на сковородку.

На кухне за печкой Пётр Ильич жарил хлеб. Делал он это странно: сковородка стояла на углях, а он сидел рядом на полене и смотрел на неё. Хлеб жарился сам — переворачивался, когда считал нужным, и золотился ровно, без единого подгоревшего края.

— Садись, — велел домовой. — Варенье брусничное, Глаша приносила. Чай пока простой, из котелка. Самовар не греет, я говорил.

— Вы говорили.

Варвара села за длинный стол. Хлеб был горячий, хрустящий, варенье — кисловатое, с еле заметной горчинкой. Она съела три ломтя, прежде чем вспомнила, что надо бы задавать вопросы.

— Пётр Ильич, а кто такая Глаша?

— Кикимора. Лавку держит, пряжу продаёт. Сама увидишь. — Он помолчал и добавил с тем особенным выражением, которое у людей бывает при слове «тёща»: — Она тебя сама найдёт. Она всех сама находит. Сплетница — каких поискать.

— А много тут вообще... жителей?

— Хватает. Пройдись. Только шарф возьми, ветер с болота.

Шарфа у Варвары не было. Пётр Ильич, ворча, вытащил из сундука в углу длинный вязаный шарф цвета спелой вишни, весь в катышках, но тёплый и мягкий.

— Хозяйкин, — сказал он неохотно. — Вернёшь в целости.

На улице было светло, сыро и тихо. Туман ушёл, и Подзимье открылось целиком. Оно оказалось не деревней и не городком, а чем-то средним: одна главная улица, мощённая крупным серым камнем, расходилась от остановки, петляла между домами и упиралась в холм, на вершине которого торчала старая каменная колокольня без колокола. От главной улицы разбегались переулки, тропинки, мостки через ручей. Дома были деревянные, с резными наличниками, у каждого свой характер. Один — высокий и узкий, как строгий учитель. Другой — приземистый, широкий, с огромной трубой, похожий на добродушного купца. Третий, на сваях посреди ручья, хмуро смотрел в воду маленькими окошками.

Всё было устроено для зимы. На крышах торчали снегозадержатели, у крылец стояли деревянные лопаты, в палисадниках — сани, перевёрнутые вверх полозьями. Не хватало только одного: снега.

Земля была голая, бурая, раскисшая. В лужах отражалось низкое небо. На ветках палисадников висели остатки листвы, которая давно должна была облететь. Вдоль улицы кто-то натянул гирлянду из жестяных звёздочек, и звёздочки позвякивали на ветру, будто спрашивали: ну где же, где?

Варвара шла медленно, разглядывая всё подряд. Мимо неё, деловито стуча копытцами, пробежал козёл в жилетке и с корзиной в зубах. У колодца две женщины в пёстрых платках набирали воду. У одной из-под платка торчали маленькие рожки, у другой кожа отливала зеленью, как у лягушки. Обе посмотрели на Варвару с вежливым любопытством и тут же зашептались.

— Новенькая, — донеслось до неё. — Из чайной вышла. Неужто Ильич кого-то впустил?

Варвара кивнула им, как кивала соседям в Самаре. Женщины кивнули в ответ, одна даже помахала. Дальше Варвара шла, чувствуя спиной их взгляды. Ощущение было знакомое: так на неё смотрели в первый день на новой работе.

Лавку кикиморы она узнала сразу, хотя вывески на ней не было. Её выдавала витрина. Стекло было почти целиком закрыто вязаными вещами: варежками с оленями, носками с косичками, шапками с ушами, шапками с рогами, шарфами длиной метра в три. В центре витрины висел свитер с вывязанным самоваром, у которого из носика шёл вязаный пар.

Дверь распахнулась раньше, чем Варвара успела решить, заходить ли.

— Вот она! — объявила хозяйка лавки голосом, каким объявляют призы в лотерее. — А я гляжу в окно — идёт! В Агашином шарфе! Ну, думаю, точно новая хозяйка! Заходи, заходи, не стой, ветер с болота.

Тётя Глаша оказалась невысокой, круглой и очень подвижной. Кожа у неё была зеленоватая, в мелкую крапинку, нос длинный, а волосы, рыжие с проседью, были собраны в такую сложную причёску, что в ней, кажется, гнездились спицы. Глаза — огромные, жёлтые, любопытные, как у совы, которая узнала новую сплетню.

Внутри лавки пахло шерстью, сушёными яблоками и ромашкой. Повсюду, на полках, на стульях и прямо на полу, лежали мотки пряжи всех цветов, какие только бывают, и ещё нескольких, каких не бывает.

— Глафира Мокеевна, — представилась хозяйка, усаживая Варвару на стул и всучивая ей кружку с чем-то горячим. — Но все говорят тётя Глаша, и ты говори. А ты Варвара, я уже знаю. Козёл Митрофан тебя у остановки видел ещё вчера, как автобус пришёл, и всем разнёс. Так ты аптекарша? Это хорошо, это нам нужно. У меня поясница. Ну это потом. Ты с автобуса, значит? Надолго?

Варвара отпила из кружки. Там был отвар шиповника с мёдом, густой и сладкий.

— До Нового года, наверное. Пётр Ильич говорит, автобус обратно только тогда.

— Это так, это правда, — закивала тётя Глаша, и спицы в её причёске защёлкали. — Раз в год ходит. Кто приехал — тот месяц думает. А потом кто уезжает, кто остаётся. Я вот сто лет назад приехала, тоже думала-думала, да так и не уехала. — Она хихикнула. — Шучу. Я местная, болотная. Это я Агашу так дразнила.

— Агашу?

— Хозяйку прежнюю. Агафью. Это ж её шарф на тебе. — Тётя Глаша тронула вишнёвую шерсть пальцем, и лицо у неё на миг стало мягким и грустным. — Я ей вязала. Давно. Хорошая была хозяйка. Чай у неё — ох. Выпьешь, и будто тебя изнутри по голове погладили.

— А где она сейчас?

— Уехала. На новогоднем автобусе, лет шестьдесят назад, а то и больше. — Тётя Глаша вздохнула. — Любовь у неё там случилась. В городе. Приезжал к нам один, молоденький, геолог, что ли, или землемер. Месяц пожил, она ему чай заваривала. А в новогоднюю ночь оба и уехали. Ильич с тех пор почти ни с кем не разговаривает. Обиделся.

Варвара попыталась представить себе Петра Ильича обиженным на шестьдесят лет. Получилось легко.

— Ну а ты слушай, — продолжала тётя Глаша, понизив голос, хотя в лавке никого больше не было. — Раз ты хозяйкой будешь, тебе надо знать. Беда у нас.

— Какая?

Тётя Глаша кивнула на окно, за которым серела раскисшая улица.

— Снега нет. Видишь? Декабрь на носу, а ни снежинки. Ни инея, ни ледка. Мороз Иванович не пришёл.

Варвара медленно поставила кружку.

— Мороз Иванович — это...

— Ну, Мороз Иванович, — тётя Глаша посмотрела на неё как на ребёнка, который не знает, как зовут солнце. — Зиму приводит. Снег, иней, лёд на речке. Он каждый год к нам заглядывал, в начале декабря, и на новогоднюю ярмарку обязательно. А в прошлом году не пришёл. Ну, думали, задержался. Снег тогда сам кое-как выпал, мокрый, к Рождеству растаял. А в этом году — вот. Ничего. Ярмарка через месяц, а у нас слякоть. Санки стоят. Ёлку ставить некуда — на площади болото. Дети плачут, лешие ругаются, у Фрола Кузьмича насморк третью неделю.

— Кто такой Фрол Кузьмич?

— Водяной. На мельничном пруду живёт. Ему без льда никак: у него пруд не закрывается, сквозняк. — Тётя Глаша вздохнула, и вздох этот был чуть длиннее, чем требовал насморк постороннего водяного. Варвара отметила это профессиональной привычкой и отложила на потом.

— А почему Мороз Иванович не приходит?

— Кто ж его знает. — Кикимора пожала плечами. — Агаша при нём чай заваривала. Особенный. Он ради её чая и заходил, я думаю, — посидит в чайной, напьётся, а потом идёт по Подзимью, и за ним снег ложится. А как Агаша уехала, Ильич сам пробовал. Ну, Ильич — домовой, сама понимаешь. Мороз Иванович ещё ходил по старой памяти, да всё реже и реже. А теперь и вовсе.

Варвара сидела, держа в ладонях остывающую кружку. В голове у неё медленно, как таблетка в стакане воды, растворялась мысль: в тетради Агафьи наверняка есть рецепт. А там, где есть рецепт, можно разобраться.

— Тётя Глаша, — спросила она, — а этот чай для Мороза... Вы не знаете, из чего он был?

Кикимора покачала головой, и спицы в волосах печально звякнули.

— Агаша секретничала. Говорила, что самое главное в нём не травы.

Из лавки Варвара вышла с кульком сушёных яблок, мотком серой пряжи, который ей вручили «на всякий случай», и полной головой новостей. Узнала она за полчаса больше, чем за год соседства в самарской многоэтажке. Про лешего Авдея, который поссорился с братом из-за ёлки. Про кузнеца, который «нелюдимый, но руки золотые, а глаза — ох, глаза». Про то, что у бабки Ульяны коза опять доится простоквашей. Тётя Глаша говорила, не останавливаясь, и ни одна новость не была злой. Сплетни у неё были тёплые, как её варежки.

На обратном пути Варвару окликнули.

— Барышня! Варвара Сергеевна!

Она обернулась. По улице, ловко огибая лужи, бежал лис. Обычный рыжий лис, разве что крупнее, чем полагается, и в форменной синей фуражке с кокардой. Через плечо у него висела потёртая кожаная сумка, туго набитая.

Лис остановился в двух шагах, сел, обвил лапы хвостом и коснулся лапой козырька.

— Арсений, почта Подзимья. Вам письмо.

— Мне? — Варвара растерялась. — Я же только вчера приехала. Кто мне может писать?

Лис вынул из сумки конверт и протянул ей зубами. Конверт был старый, желтоватый, с маркой, на которой был нарисован зимний лес. На лицевой стороне аккуратным почерком значилось: «Варваре». И больше ничего. Ни адреса, ни обратного адреса.

Конверт был лёгкий. Слишком лёгкий для письма.

— Он пустой, — сказала Варвара, посмотрев на свет.

— Пока пустой, — согласился Арсений с профессиональной невозмутимостью. — Это письмо ещё не написано. Я такие часто доставляю. Распишитесь вот здесь.

Он протянул ей лапой маленький блокнот и огрызок карандаша. Варвара машинально расписалась.

— А когда оно... напишется?

— Когда придёт время. — Лис забрал блокнот, сунул в сумку и снова коснулся козырька. — Храните в сухом месте. Хорошего дня, Варвара Сергеевна.

И убежал, мелькнув рыжим хвостом между домами.

Варвара осталась стоять посреди улицы с пустым конвертом в руке. Жестяные звёздочки над её головой позвякивали на ветру. С холма, от колокольни без колокола, тянуло холодом — не настоящим зимним, а сырым, ноябрьским, неправильным.

Она спрятала конверт во внутренний карман пуховика, поближе к сердцу, и пошла к чайной. Надо было чинить самовар. И читать тетрадь.

Глава 4. Насморк водяного

Самовар починить не удалось. Варвара полдня разглядывала его со всех сторон, заглядывала в трубу, простукивала бока и пришла к выводу, который сделал бы честь любому консилиуму: пациент скорее жив, чем мёртв, но без специалиста не обойтись. Внутри что-то разошлось, медь дала трещину у основания, и вода, сколько её ни наливай, тихо уходила в поддон.

— Говорил же, — сказал Пётр Ильич с мрачным удовлетворением человека, чей прогноз сбылся. — К кузнецу надо.

— Так давайте отнесём.

— Сама неси. Я к нему не хожу.

— Почему?

— Не хожу, и всё, — отрезал домовой и ушёл за печку пересчитывать ложки, хотя пересчитывал их утром.

Варвара решила, что кузнец подождёт до завтра, а пока можно заняться тем, ради чего она тут, судя по всему, и оказалась. Она отмыла прилавок, протёрла полки, сняла со стен самые пыльные пучки трав и развесила их на верёвке у печки — проветриться. Расставила табуретки. Выбила на крыльце лоскутный коврик, отчего Пётр Ильич из-за печки сказал «ну наконец-то». Вскипятила воду в большом чугунном котелке, раз уж самовар болел.

И открыла тетрадь.

Вчера вечером она так и уснула, не прочитав ни строчки, а утром было не до того. Теперь, сидя за прилавком с кружкой простого чёрного чая, она листала пожелтевшие страницы и чувствовала, как у неё медленно, по-профессиональному, загораются глаза.

Тетрадь была устроена как хороший фармакологический справочник. Каждый рецепт занимал страницу или две. Сверху — название, подчёркнутое двумя линиями. Ниже — состав, с пропорциями: «душицы — щепоть с горкой», «липового цвета — сколько в горсть ляжет у ребёнка лет семи», «мяты — три листа, не больше, а то загрустит». Дальше — способ приготовления, время настаивания и отдельная графа, которую прежняя хозяйка назвала «Кому не давать». Варвара увидела эту графу и едва не прослезилась от умиления. Противопоказания. В волшебной тетради были противопоказания.

«От зимней тоски. Не давать тем, кто тоскует по делу, — им надо дотосковать».

«Чтоб помириться. Не давать, если обида свежая, меньше трёх дней, — не возьмёт, только икоту наведёт».

«Для смелости. Не давать зайцам. Проверено».

Были и рецепты попроще, почти обычные: «от простуды и жалости к себе», «от насморка у тех, кто живёт в воде». На последнем Варвара задержалась. Липа, малина, сосновые почки, щепоть сушёного аира и «три капли тёплого слова», что бы это ни значило.

В дверь постучали.

Стук был мокрый. Варвара не смогла бы объяснить, как стук может быть мокрым, но этот был именно таким: будто в дверь толкнули мокрой варежкой. Следом раздался долгий, мучительный, хлюпающий чих, от которого задребезжали стёкла.

— Входите! — крикнула Варвара.

Дверь открылась, и в чайную вошёл водяной.

Он был высокий, грузный, с длинной бородой, зелёной, как тина в августовском пруду, и такими же волосами, перехваченными на лбу кожаным ремешком. Одет был в долгополый кафтан, с которого на коврик сразу натекла лужица. На ногах — галоши. Лицо у него было широкое, доброе и совершенно несчастное. Нос, большой и синеватый, распух и покраснел до такой степени, что казался отдельным существом, которое водяной носит с собой против воли.

— Здравствуйте, — гнусаво сказал гость. — Говорят, тут хозяйка новая. Говорят, аптекарша.

— Говорят правильно, — Варвара встала из-за прилавка. — Варвара Сергеевна. Проходите, садитесь. Вон туда, ближе к печке.

— Фрол Кузьмич, — представился водяной, усаживаясь. Табуретка под ним скрипнула, но выдержала. — С мельничного пруда. Вы уж простите, что я... — он не договорил и снова чихнул, оглушительно, так, что пучки трав на верёвке закачались.

— Будьте здоровы. Давно это у вас?

— С октября.

Варвара села напротив и, сама того не заметив, переключилась. Так бывало в аптеке, когда в окошко подходил человек с настоящей, не придуманной бедой. Голос становился ровнее, движения — точнее, а в голове будто открывалась невидимая карточка с графами.

— Температура была?

— Это как?

— Жар. Знобило?

— Не, — водяной помотал головой, и с бороды полетели брызги. — Я ж холодный. Мне жар нельзя, я от жара испаряюсь.

— Понятно. — Графа «температура» в невидимой карточке аккуратно зачеркнулась. — Горло болит? Кашель?

— Горло не болит. Только нос. И сквозняк.

— Какой сквозняк?

Фрол Кузьмич тяжело вздохнул.

— Пруд мой не замёрз. Обычно к ноябрю ледок, к декабрю — крышка, ровная, крепкая. Под ней тихо, тепло, я до весны сплю. А тут — нет крышки. Ветер по воде ходит, рябь, сквозит. Мне по ночам дует в самое темечко. Вот и простыл. И не спится. А раз не спится, то... — он помялся, — то всякое в голову лезет.

— Какое?

Водяной вдруг смутился, отвёл глаза и стал разглядывать собственные галоши.

— Да так. Неважное.

Варвара вспомнила длинный вздох тёти Глаши при слове «Фрол Кузьмич» и решила пока не настаивать. Анамнез собран, а остальное — дело личное.

Она открыла тетрадь на странице «от насморка у тех, кто живёт в воде». Липа нашлась в жестяной коробке с надписью «Липа», малина — сушёная, в холщовом мешочке, сосновые почки — в банке из-под монпансье. Аира не было. Варвара покопалась в полках и нашла его в самом углу, в бумажном фунтике, подписанном «Аир. Злой».

— Почему злой? — спросила она вслух.

— Потому что горький, — донеслось из-за печки. Пётр Ильич, оказывается, подслушивал. — Много положишь — плеваться будет.

— Сколько тут написано — столько и положу.

Она отмерила всё по тетради. Рука сама вспоминала навыки, полученные когда-то в лаборатории аптечного колледжа: ровно, без суеты, взвешивая на глаз и перепроверяя. Щепоть липы. Восемь ягод малины. Ложка почек — Варвара взяла мельхиоровую, номер четырнадцать по описи. Аира — на кончике ножа, ровно столько, сколько уместилось.

Оставалась последняя строчка: «три капли тёплого слова».

Варвара перечитала её несколько раз. Почерк был ясный, без помарок, шутки в этой строчке не чувствовалось. Она налила кипяток из котелка в пузатый заварочный чайник, накрыла его полотенцем и задумалась.

— Пётр Ильич, — позвала она, — что значит «тёплое слово»?

— А я почём знаю? Хозяйка знала. Ты хозяйка — вот и думай.

Варвара думала, пока чай настаивался. Она смотрела на Фрола Кузьмича, который сидел, ссутулившись, у печки, грел у огня огромные зелёные ладони и тихонько шмыгал своим несчастным носом. Он был похож на очень большого и очень расстроенного ребёнка. В аптеке к ней часто подходили такие — взрослые люди, которым на самом деле нужна была не таблетка, а чтобы кто-то сказал: ничего, пройдёт.

Она сняла полотенце, наклонилась над заварочным чайником и тихо, так, чтобы водяной не услышал, сказала прямо в пар:

— Пройдёт. Пруд замёрзнет, и выспитесь до самой весны. Всё будет хорошо.

Пар качнулся. Ей показалось, или запах изменился? Стал гуще, медовее, хотя мёда она не добавляла.

Варвара налила чай в самую большую кружку, какая нашлась, — глиняную, с отбитой ручкой, — и поставила перед гостем.

— Пейте. Маленькими глотками, не торопитесь.

Фрол Кузьмич понюхал. Отпил. Зажмурился. Отпил ещё. Лицо у него разгладилось, плечи опустились, и он стал похож уже не на расстроенного ребёнка, а на большого сонного кота у батареи.

— Ох, — сказал он, и голос у него прозвучал совсем не гнусаво. — Ох, хозяюшка.

Нос на глазах терял свою синеву. Водяной допил кружку до дна и вдруг громко, раскатисто икнул. Из его рта вылетел пузырь — большой, радужный, как мыльный, — поднялся к потолку и лопнул с тихим звоном.

Варвара замерла.

Фрол Кузьмич икнул снова. Второй пузырь полетел за первым. Третий оказался совсем маленьким и лопнул, не долетев до верёвки с травами.

— Пётр Ильич! — позвала Варвара. — Это нормально?

Домовой высунулся из-за печки, посмотрел на пузыри и хмыкнул.

— Нормально. Аира чуток лишку. Говорил же — злой. К вечеру пройдёт.

Фрол Кузьмич, похоже, был совершенно не против. Он сидел у печки, пускал пузыри и улыбался так широко, как, наверное, не улыбался с октября.

— Хозяюшка, — сказал он между пузырями, — сколько я должен?

Варвара открыла рот, чтобы ответить по привычке: «двести сорок рублей, карта или наличные». И закрыла. Деньги тут, кажется, не в ходу.

— А чем у вас обычно платят?

Водяной подумал, пошарил в кармане кафтана и выложил на стол пригоршню речных камешков — гладких, обкатанных, разноцветных. Среди них был один совсем прозрачный, похожий на льдинку, с крошечным пузырьком воздуха внутри.

— Вот. Со дна. Этот, прозрачный, — особенный. Если в стакан с водой положить, вода всегда холодная будет, хоть летом на солнце ставь. А ещё могу историю. Хотите историю?

— Хочу, — сказала Варвара и сама удивилась, насколько ей хочется.

И Фрол Кузьмич рассказал. Про мельницу, которая стоит на краю Подзимья и не мелет уже сто лет, а мельник её давно ушёл, но иногда по ночам там кто-то сыплет муку. Про то, как однажды к нему в пруд упал месяц и полночи не мог выбраться, пока водяной не подсадил его на камыш. Про то, как подо льдом зимой слышно, кто ходит по берегу: лёгкие шаги — лиса, тяжёлые — кузнец, а мелкие-мелкие, как дождик, — тётя Глаша, когда несёт ему пирожки.

На последних словах он сбился, кашлянул и замолчал. Уши у него — Варвара только теперь заметила, что уши у водяного есть и что они похожи на плавники, — заметно позеленели.

Ушёл Фрол Кузьмич уже в сумерках, всё ещё пуская время от времени радужные пузыри. Варвара стояла на крыльце и смотрела, как он удаляется по раскисшей улице, огромный, медленный, оставляя за собой мокрые следы.

За её спиной в чайной Пётр Ильич гремел ложками.

— Сорок две, — сказал он наконец. И добавил, совсем тихо, будто себе под нос: — Хорошо заварила. Почти как Агафья.

Варвара сделала вид, что не услышала. Но в груди у неё что-то тихонько потеплело, как вода в котелке, поставленном на угли.

Глава 5. Почерк

Ночью ей не спалось.

Наверное, оттого, что за день она впервые за долгое время не устала. Тело было приятно разбитым, руки пахли липой и сосной, а голова — ясной и до странности лёгкой. В Самаре после смены Варвара засыпала, едва коснувшись подушки, и вставала с таким чувством, будто всю ночь разгружала вагоны. Здесь она лежала под скошенным потолком, слушала, как потрескивает внизу остывающая печь, и сна не было ни в одном глазу.

Она зажгла керосиновую лампу — электричества в чайной не было, зато лампа горела ровным, тёплым, чуть желтоватым светом, — подложила под спину подушку и снова открыла тетрадь.

Читать её было приятно, как читать письма от человека, которого давно знаешь. Агафья писала просто и с юмором. В рецепте «для гостей, которые засиделись» значилось: «Мята, полынь, капля уксуса. Подавать с фразой "Ой, как поздно-то уже". Действует безотказно, проверено на леших». В рецепте «от зубной боли и вредности» стояла приписка: «Зубы проходят сразу, вредность — по-разному. Глафире помогает на полдня».

Варвара тихо смеялась, переворачивая страницы, и вдруг перестала.

На одной из страниц, в самом низу, под рецептом «чая для долгой дороги», была приписка мелким почерком: «Трава не лечит, Варенька. Лечит тот, кто заваривает. Трава только помогает».

Варвара перечитала строчку трижды.

Это была бабушкина фраза. Не похожая, не такая же по смыслу — именно бабушкина, слово в слово. Баба Ганя говорила её всякий раз, когда маленькая Варя болела. Заваривала ей липу или чабрец в большой эмалированной кружке с отбитым краем, садилась рядом на кровать, гладила по голове и говорила: «Трава не лечит, Варенька. Лечит тот, кто заваривает. Трава только помогает». Варя тогда не понимала, о чём это. Ей было восемь, у неё болело горло, и единственное, что её интересовало, — разрешат ли смотреть мультики.

Агафья. Ганя.

Варвара села на кровати прямо. Тетрадь лежала у неё на коленях, и руки, державшие её, вдруг стали холодными.

Бабушку звали Агафьей Степановной. Варвара знала это, конечно, — видела на памятнике, на старых документах, на открытках, которые дед подписывал «Дорогой Ганечке». Но это имя никогда не было для неё настоящим. Бабушка была баба Ганя, всегда, сколько Варвара себя помнила. Маленькая, сухонькая, в цветастом халате и в очках на верёвочке. С огородом под Сызранью, с курами, с банками малинового варенья, с травами под потолком веранды. Дед был геологом. Он умер, когда Варе было пять, и она помнила его плохо: высокий, бородатый, пахнет табаком, смеётся. А бабушки не стало, когда Варе исполнилось шестнадцать.

Варвара медленно, бережно стала листать тетрадь с самого начала. Теперь она смотрела не на рецепты, а на почерк. На то, как выведена заглавная «Д», с завитком внизу. На то, как буква «т» пишется с чёрточкой сверху, по-старинному. На то, как в конце строки слова, не уместившиеся целиком, переносятся не по слогам, а как придётся, с весёлым небрежением к правилам.

Бабушкины открытки на день рождения. Бабушкины записки на холодильнике: «Варя, суп в кастрюле, не ешь всухомятку». Бабушкина подпись в дневнике за пятый класс, когда мама была в командировке.

Это был её почерк.

Варвара долго сидела неподвижно. Лампа потрескивала. За круглым окошком горел фонарь у остановки, и в его свете неподвижно стояли чёрные яблони. Где-то далеко, за ручьём, снова протяжно, на одной ноте, завыл кто-то, кто не был собакой.

Значит, Агафья, прежняя хозяйка чайной, которая уехала шестьдесят лет назад на новогоднем автобусе за молоденьким геологом. Значит, баба Ганя, которая заваривала ей липу от простуды и говорила, что лечит не трава.

Варвара не знала, плакать ей или смеяться, и на всякий случай сделала и то и другое — тихо, в подушку, чтобы не слышал Пётр Ильич. Плакала она не от горя: горе по бабушке давно отболело, превратилось в тёплую, привычную тоску, которая жила где-то в районе ключиц и иногда напоминала о себе запахом сушёной мяты или видом старых эмалированных кружек. Плакала она от удивления. От того, что жизнь, которую она двенадцать лет считала скучной, плоской и расписанной по сменам, вдруг оказалась с двойным дном. А в этом втором дне хранились сушёная липа, домовой с ложками и бабушкин почерк.

Когда слёзы кончились, она вытерла лицо краем наволочки и снова открыла тетрадь. Теперь она читала по-другому: не как справочник, а как письмо, которое пришло к ней с шестидесятилетним опозданием.

Ближе к концу тетради она нашла то, что искала, сама того не зная.

Между рецептом «чая от несказанных слов» и рецептом «для тех, кто разучился смеяться» не хватало страницы. Её не вырвали небрежно, а аккуратно отрезали, почти у самого корешка. Остался только узкий бумажный край, не шире пальца. На нём можно было разобрать начало заголовка — «Чай для Мор...» — и столбик обрывков, первые буквы строк:

«Ин...»

«Хв...»

«Кл...»

«Ябл...»

«Ис...»

«Вод...»

«Же...»

«И то, ради...»

И всё.

Варвара поднесла тетрадь к лампе. Рассмотрела обрез. Срез был ровный, будто сделан острым ножом или ножницами. Кто-то отрезал страницу намеренно и аккуратно, чтобы не повредить соседние.

Утром она спустилась вниз раньше домового. Тот, впрочем, уже не спал: сидел у печки на своём полене и смотрел на угли. Увидев Варвару с тетрадью в руках, он почему-то сразу всё понял. Глаза у него стали настороженные.

— Пётр Ильич, — сказала Варвара. — Агафья Степановна. Прежняя хозяйка. Она была моей бабушкой.

Домовой не удивился. Он долго молчал, разглядывая угли, а потом сказал, не поворачивая головы:

— Знаю.

— Откуда?

— Шарф. — Он кивнул на вишнёвый шарф, висевший на крючке у двери. — Я тебе его дал, а ты его надела, будто свой. Чужому Глашин шарф на шею не ляжет, он колючий для чужих. А на тебе лежит. И ещё глаза. У тебя глаза Агафьины. Серые, с крапинкой. Как ты вошла, я сразу понял.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.